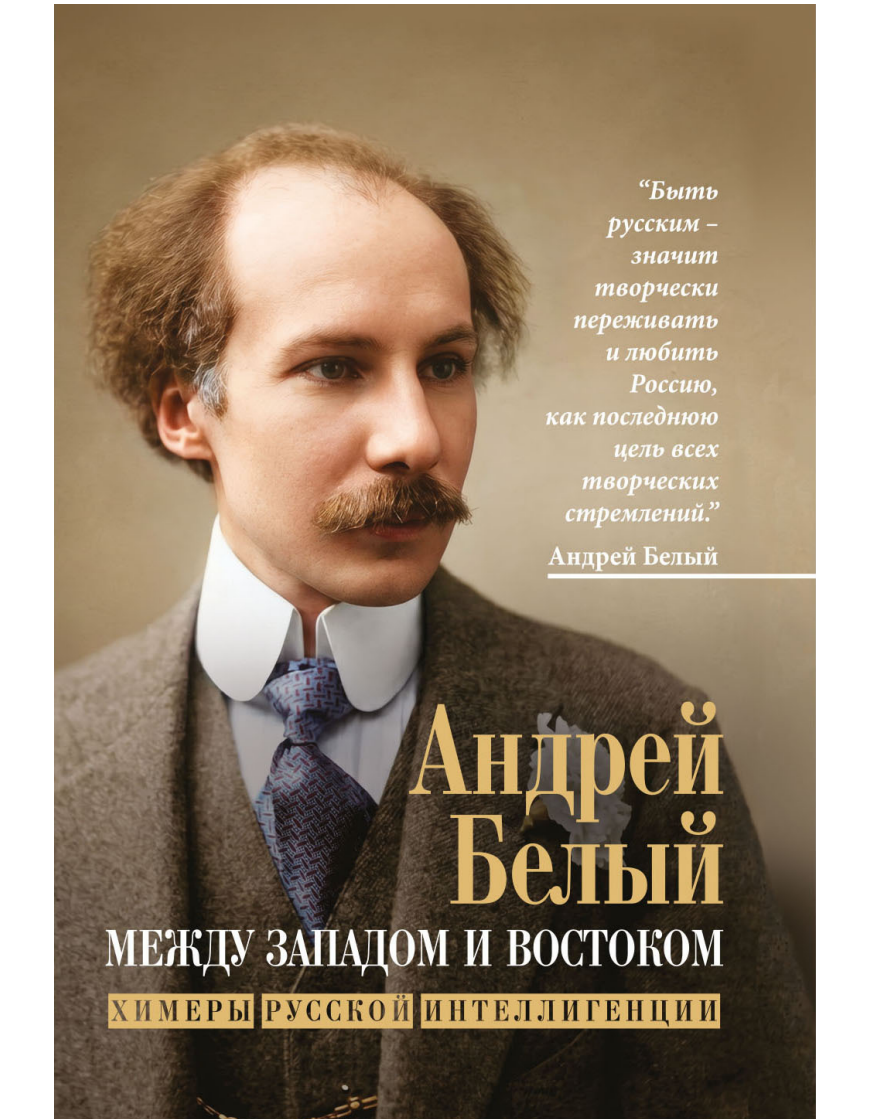


A portrait of Andrei Bely, a Russian writer and symbolist. He is shown from the chest up, wearing a dark brown suit jacket over a white shirt and a blue patterned tie. He has a mustache and is looking slightly to the right. The background is a plain, light-colored wall.

*“Быть
русским –
значит
творчески
переживать
и любить
Россию,
как последнюю
цель всех
творческих
стремлений.”*

Андрей Белый

Андрей Белый

МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ

ХИМЕРЫ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Андрей Белый
Между Западом и Востоком.
Химеры русской интеллигенции
Серия «Кто мы? (Алгоритм)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74365086

*Между Западом и Востоком. Химеры русской интеллигенции:
ISBN 978-5-00269-558-4*

Аннотация

«Говорят, что Запад – свет России; говорят и то, что Россия – свет Западу, – писал Андрей Белый, писатель и критик, видный представитель русской культуры рубежа XIX – XX веков. – Мы живем в атмосфере неясных и сложных ответов на то, что такое культура, нация, национальное самоопределение... Мы не смеем сказать о том, о чем втихомолку перешептываемся в углях; самая надежда наша, устремленная к России, способна обратиться в пошлость и самонадеянность; и с поспешным высказыванием наших надежд должны мы бороться едва ли не с большим ожесточением, чем с высказыванием наших разочарований».

В своих очерках и статьях, представленных в данной книге, Андрей Белый пишет о мучительных поисках русской интеллигенции собственного пути развития, различных течениях в культурной жизни России XIX – XX веков и наиболее значительных писателях и поэтах этой эпохи.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Вместо предисловия	6
Между Западом и Востоком	17
Неославянофильство и западничество	17
Декаденты. Поиск «себя» в «себе»	21
Символизм. Распавшееся «Я»	32
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Андрей Белый
Между Западом и Востоком
Химеры русской
интеллигенции

© ООО «Издательство Родина», 2026

Вместо предисловия

Что есть Россия?

Что есть Россия? Что есть любовь к родине? Кто я, любящий Россию? Что значит быть русским?

Вот простые, ясные вопросы: казалось бы, простые, ясные ответы на них напрашиваются сами собою; казалось бы, такие вопросы не следует поднимать; более того: поднимать их смешно.

Между тем, мы живем в атмосфере неясных и сложных ответов на то, что такое культура, нация, национальное самоопределение; Россия подчеркивается; о России говорят; вновь и вновь поднимается полемика против национализма; воскресает интерес к специфическим чертам прошлого русской мысли; подчеркивается интерес к славянофилам; в ответ на это западническая тенденция углубляется вновь, предстает в боевом виде: спорят из-за Герцена, Бакунина, Соловьева; говорят о русском искусстве, о путях русской национальной мысли. Поэты, художники, сойдя с высоты Олимпа, начинают в песнях своих воспевать Россию; «как смеют они говорить о России?» – раздастся раздраженный ответ тех, кто вчера как раз упрекал этих художников в оторванности от земли, родины, нации; Мережковский бьет в набат: новое народничество есть показатель реакции: тем-

ный Восток-де прет на нас отовсюду.

Возникают кружки, складываются партии, ломаются копыя о Востоке и Западе, национальной и вненациональной культуре, реакционности или, наоборот, революционности самого народничества.

Все это сложные, часто страстные, часто пристрастные ответы, весьма неясные, пока вопрос на эти уже даваемые ответы еще не поставлен во всей его примитивной резкости.

* * *

Что же есть Россия? Что значит быть русским?

Россия есть государственное целое, т. е. совокупность учреждений; Россия есть совокупность людей, т. е. ряд наций, механически объединенных бытовыми, этнографическими и культурными формами; Россия есть географическое целое, т. е., ряд пейзажей, картин; Россия есть одна нация, имеющая свою незабываемую историю, любовь к ней определяема памятью ряда драм, претерпеваемых нацией в борьбе за существование в ряду других наций; Россия есть совокупность наций, органически связанных настоящим; Россия есть некоторое, не данное в истории, гармоническое единство государственных, бытовых, географических и исторических черт; в этом смысле она – идеал, к которому должно стремиться: она не дана, а загадана.

Вот сколько разнообразных России встает перед нами;

столько же перед нами возникает «национализмов»; столько же разных, ничего общего не имеющих «любвий к родине» перекрещиваются в вопросе о том, что такое Россия, родина, патриотизм?

Если Россия есть государственное единство, то любовь к России определяема государственным идеалом: я люблю Россию лишь потому, что все формах вижу естественное восхождение к некоторым идеальным формам; в любви моей к родине сказывается реальное стремление к осуществлению государственного идеала. Но идеальное государство загадочно: его нет. Мой патриотизм в таком случае не имеет прямого отношения к реальной России. Реальная Россия лишь предлог к проявлению моих формальных стремлений (Россия, как мрамор, из которого я высеку статую: мог бы лепить и из глины, но под руками мрамор). Не Россию люблю я, а формы. В ответе на такую любовь непроизвольное чувство отталкивает меня от связи национального вопроса с государственным; родина противопоставляется государству. Родина не государство.

Россия, стало быть, есть совокупность людей, а не учреждений, но где единство, связывающее этих людей? Такое единство есть национальное единство; где же единство наций в России? Великоруссы и поляки, полешуки и финны, грузины и немцы, чукчи и евреи – что общего между ними? Россия не есть реальное единство наций; такое единство может лишь осуществиться в будущем. Любовь к неявленному

единству (идеальная) ничем не отличается от любви к человечеству вообще.

Но может быть, быт этнография объединяет нации? Ничуть: такое единство отсутствует. Стало быть, ни государство, ни связь наций, ни быт, и ни этнография не лежат в основе реально ощущаемой любви к России. Стола быть, единство это лежит в культурных ценностях.

Что есть культура? Культура не есть цивилизация, предполагающая ряд всеобщих и необходимых форм знания, морали, проведенных в жизнь; цивилизация, прогресс вненациональны; культура сеть сложное единство творчески создаваемых ценностей, всегда индивидуальных; в ряде индивидуальных особенностей быта, творчески преобразуемых, в памятниках искусства, религиозного и этического творчества сказывается культура; прогресс выражается в ряде статистических формул; культура есть динамический процесс, неразложимый в формах; впоследствии этот процесс кристаллизуется в прогресс.

Отношение между культурой и прогрессом есть отношение между процессом и продуктом творчества: прогресс всегда есть вывод культуры. В этом смысле культура есть связь индивидуальных творчеств, предполагающая единичные творческие акты. Такая связь существует в культуре Греции, где творчество философии, религии, искусства и общест-венности было органически связано и нераздельно; такая связь между поэзией, музыкой и философией Германии су-

существует: романтизм Новадисов и Шлегелей отражается в музыке Шумана и Шуберта, как отражается он и в философии Фихте, Шеллинга, продолжаясь в Вагнере, Шопенгауэре, Ницше и новейшей эпохе; можно поэтому говорить о культуре Германии. Такой связи, пожалуй, не установишь в культуре русской, хотя трагедия русского творчества культуры одинаково встает и в симфониях Чайковского и в религиозных муках Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. Именно, в произведениях русской культуры рождается искомая нами реальная Россия, но как предвестие, как давно ожидаемое чаяние, не как реальность.

«Что глядишь ты на меня?» – с тревогой обращается к России Гоголь. Россия, ему приснившаяся, не имеет ничего общего с Россией, которую он так зло осмеял. Она в его молитвах – Прекрасное Виденье. И этому видению говорит Достоевский свое «Буди, буди». Не говорит: «Ты – еси», потому что видит вокруг Скотопригоньевск в мареве бесовщины, облитый карамазовской грязью. Он говорит России: «Буди! «России нет, по она – будет, как будет русская философия (Вл. Соловьев), как будет русская общественность (народничество); реальная песнь русской культуры есть песнь о ее будущем: русской культуры, проведенной в жизнь, как реального единства России, все еще нет. И потому не реальна любовь к такому культурному единству, а идеальна.

Но может быть, Россия есть географическое единство? Нет, и такого единства не существует...

И вот, желая положительного, трезвого обоснования национализма, приходят к мысли о противопоставлении русской нации всем прочим нациям, обитающим в России: Россия есть Россия русских? Но кто такие русские? Северяне представляют собой смесь с финскими племенами; пожалуй более русские – малороссы. В таком случае, отчего не идти дальше? Тверитянин может объявить Россией лишь тверское княжество, владимирец – суздальское. И далее: понятие «русский» разорвется между вятичем, родимичем, кривичем. Но истинно русские люди не идут так далеко; под началом России разумеют они собрание Великороссии московскими князьями, т. е., начало русского государства; но расширение русского государства и привело его к осознанию себя единством государственных учреждений; в этом смысле Русь-до-Петровская и после-Петровская едины. Противоположение первой последней есть эстетический романтизм; в последнем случае любовь к России есть любовь к бесследно исчезнувшему прошлому; такая любовь мертва; по отношению же к реально существующей России, как и к загаданной (художниками слова) будущей России, такая «любовь» только и может проявляться в ненависти.

Стало быть, Россия есть некоторое не данное в истории, но предполагаемое, единство исторических, бытовых, этнографических черт, предугадываемое, величайшими русскими писателями и философами. Любовь к России есть пути и стремление к раскрытию этого единства.

Все же остальные «любви» — любовь к русской истории, к природе, к нации, входя, как составные части, в предугадываемое единство, само по себе еще не определяют самой любви.

* * *

Что есть Россия? Россия есть несовершенный процесс исторического творчества, а не готовый его продукт; Россия вся — *in statu nascendi*; она — хаос. Вот реальный, позитивный вывод из рассмотрения того конгломерата черт, который должен, по вере других, родить самый образ России.

И становясь на почву государственного строительства и цивилизации, западники утверждают Россию постольку, поскольку она становится на уровень одного из государств; Россия измеряется идеалом государства. И поскольку Россия есть государство, постольку ее нет, как России. Для последовательного государственника Россия, как таковая, как не идеальная, т. е., всечеловеческая организация учреждений, есть вредный придаток: этот вредный придаток должен исчезнуть. Но тут позитивизм общественного идеала сталкивается с реализмом переживаемого чувства: Россия есть.

И вот, исходя из реализма переживания, националисты строят будто бы существующую Россию, как действительную единицу; они основываются то на истории, то на религии, то на метафизике. Но действительно существующей России

нет: есть Россия для русских; тогда поляк скажет: Россия для поляков, полешук – Россия для полешуков и т. д.

Отрицание хаоса русской действительности ведет к иллюзорной идеологии о том, что Россия должна исчезнуть. Утверждение же реально существующей России ведет к утверждению хаоса русской жизни (национальной вражды и т. д.).

России нет. Россия есть.

Два лозунга – две правды; России нет: эмпирического единства России нет – вот правда западничества. Россия есть: мистическая вера в будущее России реально дана в чувстве – вот правда патриотизма.

Два лозунга – две неправды. России нет: идеальные представления о несуществующем еще государстве превращаются в реальность, а предстоящее многообразие русской действительности – приносится в жертву отвлеченной и эмпирически еще недоказанной идеологии; вот обратная сторона западничества.

Россия есть: мистический реализм живого чувства, выражающийся в вере в Россию, переносится на действительное безобразие настоящего и прошлого русской действительности; вот обратная сторона русского славянофильства.

В первом случае наличие веры зачеркивается во имя будущего; во втором случае будущее переносится в настоящее.

Исторически вопрос о том, быть России или не быть,

предрешен чисто теоретическим вопросом: государство ли для культуры, культура ли для государства?

Культура всегда органически включает момент национального развития; нация выявляема посредством творчества.

Государство всегда выключает момент нации: понятие о государстве есть понятие отвлеченное; в этом понятии заключен рационализм.

Любовь к родине есть область иррационального; вопрос о государстве связан с областью рационального.

* * *

Последний вопрос есть вопрос об отношении сфер рационального к иррациональному. Философия наших дней решает этот вопрос так, что область иррационального есть область творчества, независимая от процессов оформливания мыслью мистики творчества.

Этим теоретическим ответом предрешены все вопросы о том, как мне быть с любовью к России, ощущаемой независимо от познания моего. Быть русским – значит творчески переживать и любить Россию, как последнюю цель всех творческих стремлений; всякое же противопоставление прогрессу и цивилизации продуктов национальной культуры, как чего-то, будто бы существующего в русской действительности, есть плохая услуга немощам России. Россия, как одушевлен-

ный и вместе идеальный образ, существует лишь в задании: в действительности его нет, в действительности есть только формы науки, морали, познания, общественности, т. е. формы прогресса; они над-индивидуальны; и тут – правда западников.

Сферы западничества и славянофильства в настоящее время не соприкасаются, а существуют как бы в двух плоскостях; область веры, мистики, чуда, есть область реальной любви к России; такая любовь полагает Россию в будущем; настоящее же в России оправдываемо лишь через будущее; область прогресса есть область реального, политического, научного и философского творчества; она имеет дело только с настоящим; вопрос о последней цели, о смысле и ценности исторических судеб изъят из ее компетенции.

Настоящее принадлежит Западу; противопоставлять настоящему Запада настоящее России – нельзя; это настоящее становится только отжившим прошлым.

В будущее России должно и можно верить; но чтобы лозунги веры не выразились в лозунге «шапками закидаем», следует предварительно сказать настоящей, больной России: – Исчезни, Россия, исчезни!

Только тогда, когда исчезнет больная Россия, мы сможем превратить лозунг Достоевского: «Буди», в ликующий новый лозунг: «Есть».

Горчичное зерно должно умереть: и западничество губит больную Россию. Но умерев, горчичное зерно оживает. Вера

в будущее – единственный лозунг реального патриотизма.

Что есть Россия? Наш путь и стремление к дальнейшему. Что есть любовь к родине? Любовь к родине есть религия. Кто я, любящий Россию? Я – носитель образа и подобию Божьего. Что значит быть русским? Быть русским – значит бесстрашно сказать действительности: «Умри», помня о воскресении.

Между Западом и Востоком

Неославянофильство и западничество

(из одноименной статьи)

Покойный Владимир Сергеевич Соловьев выставил когда-то лозунг самоопределения русской философской мысли: вопрос о том, быть ли ей национальной или вненациональной, русской или западной, – он решил в сторону Запада. Западноевропейская мысль развивалась в борьбе со схоластическим догматизмом; в такой догматизм впала, естественно, религиозная философия; лозунг философии Запада есть мысль об ее автономном развитии. «Если наша философская мысль обнаруживает теперь мистическое направление, – пишет Соловьев в «Национальном вопросе», – то она, наверное, никаких плодов не принесет».

Нам чрезвычайно ценно заявление философа-мистика о необходимости автономного философского развития; сам он стоял на той точке зрения, что путем освобождения от извне привнесенной мистики философская мысль чисто рацио-

нальным путем приходит к осознанию своей деятельности как проявления Божественного Логоса. Связь философии с религией устанавливает он не путем внешнего насилия, совершаемого над ratio, а путем рационального осознания самого ratio как части Логоса; всякое иррациональное суждение о задачах и судьбах философии, на основании желания ее видеть иррациональной, ему должно было претить.

Присягновение русской философской мысли традиции Запада вовсе не есть закрепление ее как русской мысли чуждыми формами. Единственная традиция западной философии есть основное убеждение самых разнообразных представителей ее течений (все равно – метафизиков, позитивистов, идеалистов) в самостоятельности задач самой философии, независимо от смежных дисциплин познания и творчества.

Говорить о самобытности русской философии и противопоставлять западной – значит противопоставлять автономии гетерономию, независимости – зависимость. Нет ни немецкой, ни русской философии; есть только философия; самобытность – в приеме обоснования, а не в самом обосновании.

Вопрос об отношении между Западом и Востоком есть вопрос об отношении чистой религии к чистой философии, которая ни восточна, ни западна, а едина. Мы говорим о западной философии лишь постольку, поскольку в ней нащупываем стремление возвыситься над четырьмя горизонтами; кантианство в этом смысле есть полюс, откуда все стороны

простираются либо на юг, либо на север, и где нет ни востока, ни запада.

Стремление восточной русской философии быть философией основано на смешении; религиозно-творческие символы такой философии извне покрываются рационалистическими терминами; чисто религиозный пламень в такой философии гаснет, распространяя дым и чад на область логической истины ни религиозной, ни безрелигиозной, но вне-религиозной по существу.

Если философия есть только стремление к мудрости и если это стремление к истине утоляется только в религии, то само это стремление проходит известные стадии, строго разделенные подхождения к истине, где область логической истины есть предпоследняя область скитаний, а область самой истины (религиозной) есть цель этих скитаний; если бы это было так, невозможно смешивать последнее, заветное, с предпоследним, формальным: религиозная логическая истина – ни логическая истина, ни религиозная также; религиозная логическая истина – вовсе не истина; и стремление видеть в национальной русской философии прежде всего религиозную философию есть стремление подорвать и убить самую философию в том виде, в каком хотел ее видеть покойный Вл. С. Соловьев.

Точка зрения славянофилов стала бы неуязвимой, если бы религия открыто в ней была противопоставлена философии; но этого противопоставления все еще нет: чистой филосо-

фии противопоставлена философия смешанная (как бы полурелигиозная и рационализированная религия); крайнему Западу противопоставлен все еще средний Восток.

Позиция неославянофилов представляет собою не броню, а сплошную брешь, в которую Запад входит открыто; русское славянофильство есть не Восток, а только средний Запад.

Декаденты. Поиск «себя» в «себе»

*(из очерка «Настоящее и
будущее русской литературы»)*

Никогда на Западе тенденциозная проповедь не была так иррациональна, как в России; литературный рационализм заел беллетристику Запада; и потому-то в западной литературе поднялся бунт против литературного рационализма. Литература Запада старше литературы русской; реальные заслуги ее – в ряде технических завоеваний; техника в ней реальнее проповеди. Проповедь засыпала личность на Западе мертвыми словами. И восстала личность на мертвое слово: личность тогда в слове увидела музыку, в бессловесном увидела она жизнь. Техника соединилась с музыкой; слова обернулись в символы: песни без слов. Литературная техника стала клавиатурой песни: индивидуализм подал руку академизму в борьбе с холодной жизненностью: живое представало в мертвом саване.

И пока происходило на Западе такое оборотничество, мы не имели времени взглянуть в личину оборотня: в оборотней мы не верили; и мы не верили в жизненность символизма; да и кроме того: слишком были мы заняты нашей родною болью, нашим огненным словом литературы: в преемниках

Толстого, Достоевского и Некрасова чтили мы великих учителей, не замечая налета мертвенности в позднейшей литературной проповеди; в потухающих углях мы видели пламя, в теплой золе – летучий дым.



Боря Бугаев в 1885 году.

Борис Бугаев родился 14 (26) октября 1880 года в Москве. Его отец, Николай Васильевич Бугаев, был деканом физико-математического факультета Московского университета. Бугаев-старший обладал широкими знакомствами среди представителей московской интеллигенции; в доме бывал Лев Толстой.

Н.В. Бугаев отличался рассеянностью и чудачествами, из-за чего стал легендой среди московского студенчества. Считал себя некрасивым, в отличие от красавицы-супруги; неоднократно говорил – «Я надеюсь, что Боря выйдет лицом в мать, а умом в меня».

И только тогда мы очнулись, когда первая фаланга победоносного войска индивидуалистов предстала пред нами с лозунгами: «Ницше, Ибсен, Уайльд, Метерлинк, Гамсун». «Что это – войско призраков?» – воскликнули мы, но призраков и нет вовсе. А между тем символисты Запада скинули маску, превратились в проповедников, проповедников иного, им неведомого совершенства: они несли культ личности в жизнь, культ музыки в поэзию, культ формы в литературу.

И первые перебежчики войска призраков, русские символисты, казались нам выходцами с того света, мертвецами, изменниками; в мелодии их слов мы слышали только безумие, в проповеди формы – холодное резонерство, в признании личности – эгоизм. «Это царское платье», – кричали мы:

царское платье царским платьем не оказалось, — но платьем оказалось оно, и хорошим платьем. Казалось, над линией русской литературы обозначилась новая линия, без связи с прежней. Тогда с большим воодушевлением присягнула русская интеллигенция полумертвой общественной тенденции в русской литературе, с негодованием прокляла она войско призраков символизма.

По граням соприкосновения двух литературных течений, призрачного и реального, закипела борьба. Она началась огульным хохотом по адресу призраков — или декадентов, как их тогда называли. Так называют символистов и поныне; это бессмысленное прозвище укоренилось теперь, когда обнаружилось, что декаденты — это те же романтики, классики, визионеры, равно как и академисты прежнего времени, но призраки заявили о своем действительном существовании; ничтожная горсть декадентов на хохот ответила вызовом, на полемику — полемикой.

Против знамени Некрасова, Горького, Чехова, Гл. Успенского выдвинули западноевропейские знамена, и притом так, что скоро умолк хохот русской критики, сменяясь откровенной бранью и улюлюканьем; над призраками посмеялись, но они взяли и воплотились. А русская интеллигенция, перед которой происходила борьба, обратилась к новым знаменам, отвертываясь от знаменосцев; приняла Ницше и Ибсена, не видя Брюсова, Мережковского и Бальмонта: получилось впечатление, будто знамена индивидуализма прискака-

ли в Россию сами на своих древках, так что русская интеллигенция думала потом, что сама она внесла в Россию культ индивидуализма.

В эпоху этой борьбы вырос Л. Андреев, отразивший в себе обе тенденции русской литературы – социальную и декадентскую, реальную и призрачную; не слияние, а смешение, не единство, а параллель: эта параллель того, что есть, и того, что кажется неосуществимым символически, отобразилась у него в рассказе «Призраки». Смешение двух мирозерцаний не изгладилось с ростом его таланта: вот почему идейный хаос нарисовал ему картину жизненного хаоса. Л. Андреев – талантливый выразитель неопределенности: как будто он одновременно рос в Двух враждебных лагерях. В нем – перемирие двух мирозерцаний, не соединение вовсе.

Русские декаденты остались чуждыми русскому обществу, но слова их о новом Западе вошли в плоть и кровь современной молодежи. С ними борются, но о западной литературе говорят их словами. «Мир Искусства» ругали, однако зачитывались Ницше. Декадентов ругают доньше, забывая, что с Гамсуном, Пшибышевским, Уайльдом, Метерлинком, Верхарном познакомили они; часто видишь теперь, как поклонники Ведекinda грудью стоят за этого писателя перед декадентами, забывая, что еще пять лет тому назад русские декаденты уже видели в нем серьезную величину.

Можно сказать, что всю программу домашнего чтения русского интеллигента по Западу составили часто ругае-

мые русские символисты: их ругают, но говорят их словами. Между тем в русском символизме произошла существенная перемена, обратная той, которая произошла в русской интеллигенции.

Западноевропейский индивидуализм в Мережковском и Гиппиус прикоснулся к Достоевскому, в Брюсове прикоснулся к Пушкину и Баратынскому, в Сологубе – к Гоголю, в Ремизове – к Достоевскому и Лескову. Ницше встретился с Достоевским, Бодлер и Верхарн – с Пушкиным (в Блоке), Метерлинк – с Лермонтовым и Вл. Соловьевым, Пшибышевский – с Лесковым (в Ремизове). Беспочвенное декадентство пустило корни в литературную почву народного духа. Оно перекинуло мост от Запада к Востоку. Не эпигоны оказались преемниками заветов лучшего прошлого. Пришли чужие и добровольно взвалили на плечи драгоценное наследство прошлого.

* * *

Индивидуализм на Западе вырастал по мере того, как мертвые формы жизни закрепощали личность. Действие равно противодействию: жизнь связывала личность; личность расцветала вне жизни. Смысл слов превратили в ходячие монеты: и смысл слова перелился в музыку. И только на крайних вершинах индивидуализма Ницше понял, что смысл в музыке, в ритме жизни: так возникла религия лич-

ности; только эта форма религии на Западе оказалась живой формой.

В России не выпрямлялась личность, не отливалась в формы, но одна форма равно придавила всех: не многообразие форм – единообразие задавило нас. Нас задавила – одна ледяная равнина. У нас – один общий враг. И тайны многих – одно: одинаково втайне перекликаемся мы друг с другом. Ледяная равнина – не жизнь – смерть; не бодрствование – кошмар. Искони нас замучил кошмар Черта: и втайне своей народ – против одного – против Черта. Вот почему между нами, если мы – народ, одна связь, одна религия {Под народной тенденцией я разумею вовсе не «хождение в народ», а нравственную связь с родиной, обуславливающую индивидуализм народного творчества вообще (вовсе не надо писать о мужике или о «Перуне», чтобы быть национальным писателем, как Пушкин).

На Западе каждый – против всех; у нас – все против одного; и потому-то индивидуализм в России всегда разлагает религию. Так крепла в нас, так отобразилась в литературе религия народа. Мы можем казаться себе не религиозными, но это только в сознании; в бессознательной, в жизненной стихии своей мы религиозны, если народны; и народны, если религиозны. Религия есть универсальная связь; она не в форме, но в духе.

Вот почему интеллигентский индивидуализм влекся к западному универсализму. Западниками у нас были искони

индивидуалисты. Наоборот, искони индивидуалисты Запада преклонялись пред нашей литературой, глубоко народной; религия их звучала в глубине личности; религия наша – в общей связи, в общих лозунгах. Но общий лозунг и лозунг индивидуальный сочетаемы в религию, ибо религия – есть религия единого. Вот почему лозунги русской литературы, универсальные для нас, звучали индивидуально для Запада.

Вот почему Ницше видел в Достоевском не выражение стремлений целого: народа, а только индивидуальный призыв; Достоевский, этот универсалист, казался Ницше великим индивидуалистом, как великий индивидуалист Ницше для целой группы русских символистов явился в свое время переходом к христианству. Без Ницше не возникла бы у нас проповедь неохристианства. Индивидуальное Запада легче усваивается стихией нашего народа, потому что религия жизни – на Западе с индивидуалистами, как у нас она с народом. И наоборот: все универсальное Запада усваивается русскими индивидуалистами в большей мере, нежели индивидуальное,

Вот почему западноевропейский символизм, переброшенный в Россию, принял столь определенную религиозно-мистическую окраску; а эта окраска неизменно приведет его к народу. И уже приводит: по-новому воскресает в нас народ; по-новому углубляем мы тенденциозность литературы русской. Пусть сознание интеллигента претит религии: это только пока отрывается он от первобытной стихии наро-

да, становится индивидуалистом – более или менее; но подлинный индивидуализм – это опять религия: а всякая религия есть связь; с чем же связует себя индивидуалист?

С самим собой. Но тогда в личности есть два Я. И пусть другое «Я» называю я – «я», в то время как другие зовут это я – «Он»; Я и Он сливаются воедино. Отказываясь от Него, я должен отказаться от себя, т. е. погибнуть. Индивидуализм ведет либо к смерти второй, либо к возрождению; во втором случае в глубине личного открывается сверхличное; сверхличное, поющее во мне, одухотворяет сверхличное, воспринятое как что-то, вне меня лежащее. Вознесенная личность должна возвратиться к религии; религия должна вознести личность.

Русские символисты прикоснулись к Ницше; если увидели они «Себя» в себе, то не могут они не увидеть, что «Он» народа открывается им как подлинное «Я».

Современная русская литература – символична по форме; форма этого символизма в русской литературе доселе была западноевропейской: она была изящной словесностью. В современной русской литературе встречаемся мы с такими стилистами, как Мережковский, Брюсов и Сологуб.

Но содержанием русской литературы не может не быть та или иная (явная или скрытая) проповедь. Эта проповедь звучит в символизме: раз эта проповедь существует – участь современной русской литературы – стать выразительницей живых иррациональных стремлений.

Между прошлым русской литературы и ее будущим – мертвые отбросы когда-то живой тенденции и мертвые отбросы живого индивидуализма. Два творческих потока – от будущего к прошлому и от прошлого к будущему – еще не встретились, не соединились. Мертвая тенденциозность и мертвый аллегоризм искажают стремление живой проповеди соединиться с живой музыкой личности. Живая личность кажется каменным истуканом обществу; живое в обществе прячется под маской безличия. Черт еще «путает» нас.

Но важно одно: современная русская литература говорит о будущем; но читаем это будущее в прообразах прошлого: то, что казалось нам в прошлом нелепым, оказалось символичным, получило чисто внутренний смысл; и русская современная литература изнутри соприкоснулась с прошлым. Одна струя современной русской литературы по-новому осветила нам индивидуализм Пушкина, другая струя – оживила народность Гоголя и Достоевского. Будущее озарило прошлое; и, осязая прошлое, мы начинаем верить в настоящее.

Символизм. Распавшееся «Я»

В неодинаковой форме творчество и познание ставят вопрос о природе всего существующего, в неодинаковой форме его решают.

Там, где познание вопрошает: «Что есть жизнь, в чем подлинность жизни?», творчество отвечает решительным утверждением: «Вот подлинно переживаемое, вот – жизнь». И форма, в которой утверждается жизнь, не отвечает формам познания: формы познания – это способы определений природы существующего (т. е. методы, образующие точное знание); и в выражении переживаний, в выражении переживаемого образа природы – прием утверждения жизни творчеством; переживаемый образ – символ; ежели символ закрепляется в слове, в краске, в веществе, он становится образом искусства.

В чем отличие образа действительности от образа искусства? В том, что образ действительности не может существовать сам по себе, а только в связи со всем окружающим; а связь всего окружающего есть связь причин и действий; закон этой связи – закон моего рассуждающего сознания. Образ действительности существует закономерно; но закономерность эта есть часть моего «я» (рефлексирующая), а вовсе не «я»; и образ действительности, predetermined связью, не существует как безусловно одушевленный образ.

Образ же искусства существует для меня как независимый, одушевленный образ. Действительность, если хочу я ее познать, превращается только в вопрос, загаданный моему познанию; искусство действительно выражает живую жизнь, переживаемую. Оно утверждает жизнь как творчество, а во все не как созерцание. Если жизнь порождает во мне сознание о моем «я», то не в сознании утверждается подлинность этого «я», а в связи переживаний. Познание есть осознаваемая связь: предметы связи здесь – только термины; творчество есть переживаемая связь; предметы связи здесь – образы; вне этой связи «я» перестает быть «я».

Я могу опознать себя только так, а не иначе; я опознаю только то, что переживаю; познание превращает переживания в закономерные и не переживаемые теперь группы предметов опыта. Законы опытной действительности, находящиеся во мне, при созерцании извне предметов опыта, кажутся мне вне меня лежащими: это – законы природы; созерцая себя – я не увижу своей подлинной, творческой сущности: я увижу вне меня лежащую природу и себя, порожденного законом природы. Познание есть созерцание в законах содержания (т. е. подлинности) моей жизни. Подлинность в моем «я», творящем познаваемые образы; образ, не опознанный в законах, – творческий образ; опознанный образ есть образ видимой природы. Творческий образ есть как бы природа самой природы, т. е. проявление подлинного «я». Это «я» раскалывается созерцанием на переживаемую, без-

образную природу творчества и на явленную в образах видимую природу. Видимая природа здесь – волшебница Лорелея, отвлекающая меня от подлинной жизни к жизни видимой. Природа творчества оказывается могучим Атласом, поддерживающим мир на своих плечах: без него жизнь волшебницы Лорелеи – не жизнь вовсе.

Искусство – особый вид творчества, освобождающий природу образов от власти волшебной Лорелеи. Необходимость образов видимости коренится в законах моего познания; но не в познании – «я» подлинное. Приведение способности представления к переживанию освобождает представляемые образы от законов необходимости, и они свободно сочетаются в новые образы, в новые группы. Здесь понимаем мы, что не действительна наша зависимость от рока природы, ибо и природа лишь эмблема подлинного, а не само подлинное. Изучение природы есть изучение эмблем подлинности, а не самой подлинности: природа не природа вовсе: природа есть природа моего «я»: она – творчество.

Таков взгляд на жизнь всякого истинного художника. Но не таков взгляд на жизнь большинства; для этого большинства само творчество есть лишь эмблема подлинности; а повинное – в окружающей нас природе.

Неудивительно, что непознаваемая образность художника для многих – лишь порождение творческой грезы, а не действительность. Но тот, кто постиг истинную природу символов, тот не может не видеть в видимости, а также и в види-

мом своем «я» отображение другого «я», истинного, вечно-го, творческого.

* * *

В существующих формах искусства двояко отобразилось творчество. Два типа символических образов встречают нас в истории искусств; два мифа олицетворяют нам эти пути; в образах явлены эти мифы: первый есть образ светлого Гелиоса (Солнца), озаряющего волшебным факелом так, что образы этого мира явлены с последней отчетливостью; другой образ есть образ музыканта Орфея, заставляющего ритмически двигаться неодушевленную природу, – Орфея, вызывающего в мир действительности призрак, т. е. новый образ, не данный в природе; в первом образе свет творчества лишь освещает в природе то, что уже дано; во втором образе сила творчества создает то, чего в природе нет. И, повинувшись этим символам, двояко озаряет искусство поверхность жизни.

Вот первый путь. В образах, данных природой, слышатся художнику зовы Вечного; природа для него есть действительное, подлинное воплощение символа: природа, а не фантазия – лес символов; погружение в природу есть вечное углубление видимости; лестница углубления – лестница символов. Художник воспроизводит вечное в формах, данных природой; в работе над формой – смысл искусства; со-

единение в одной художественной форме черт, разбросанных во многих природных формах, создание типических форм, форм-идей – вот символизм этого рода творчества: таков символизм Гете. Это путь так называемых классиков искусства. От образа природы, как чего-то данного извне, к образу природы, как чего-то понятого изнутри – вот путь классического творчества.

Но, углубляя и расширяя любой природный символ, художник осознает относительность образа, от которого он исходит; возведение образа в типический образ убивает образ сам по себе, вне художника. Художник здесь постигает зависимость формы от закона формы, но закон этот он постигает в себе: «я» становится для него законом. Художественное сознание, центр мирового творчества, слово жизни – так заключает он; и плоть искусства выводит из слова, а из искусства выводит он законы жизни.

Но тут сталкивается он с действительностью, не подчиненной его творческому сознанию: и она для него – грозный и чуждый хаос.

«О, страшных песен сих не пой», – восклицает он, обращаясь к природе.

От природы видимой он восходит к подлинному; но подлинное для него в «я», сознающем себя законодателем жизни. Его влечет голос волшебницы Лорелеи: она – природа его сознания; Лорелея показывает ему величие мира сего и говорит: «Приди ко мне, и я сделаю тебя царем мира».

И когда, зачарованный Лорелеей, садится он на трон жизни, природа является его сознанию как злой рок, отнимающий у него царство мира сего. Рок в образе хаоса побеждает царя. Лорелея (природа сознания) подменила художнику его «я». «Я» не в законе, «я» — в творчестве.

* * *

Есть иной путь искусства.

Художник не хочет видеть окружающего, потому что в душе его поет голос вечного; но голос — без слова, он — хаос души. Для художника хаос этот — «родимый» хаос; в закономерности природы внешней видит он свою смерть, там, в природе видимости — подстерегает его злой рок. Из глубины бессознательного закрывается он от природы завесой фантазии; создает причудливые образы (тени), не встречаемые в природе. Миром фантазии огораживается он от мира бытия. Это путь так называемого романтического искусства; таков Мильтон.

Но, создав иной мир, лучший, художник видит, что по образу и подобию этого мира построен мир бытия; природа — плохая копия его мира, но все же копия. Туман его грез осаждается на действительность, омывает ее росой творчества; родимый хаос начинает петь для него и в природе. Таков путь фантастического романтизма к романтизму реальности; такова фантастика реальности; в Гоголе «Мертвых

душ», в Жан-Поль-Рихтере и др.

В природе звучит такому художнику голос волшебницы Лорелеи: «Приди ко мне, я – это ты: вернись к природе; она – ты».

Но природа – не звериные волны музыки: она – необходимость; и, вернувшись в природу, царь фантазии обращается в раба Лорелеи. Лорелея выдает своего раба чуждому разуму природы. Так начинается трагедия романтика. И образы трагического искусства завершают эпопею романтизма: это образы Софокла, Эсхила, это – образы Шекспира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.